



Йенс ХЕРЛЪТ

«В ожидании варваров»: Бродский и границы эстетики*

Стихи и трагедии Анненского можно сравнить с деревянными укреплениями, городищами, которые выносились далеко в степь удельными князьями для защиты от печенегов, навстречу хазарской ночи.

О. Э. Мандельштам. О природе слова

Стихотворение «К переговорам в Кабуле» (в дальнейшем «КпК») было написано в 1992 г. Но, когда его читаешь сегодня, ловишь себя на мысли, что уже самым этим произведением оправдывается заглавие одной из первых книг о творчестве поэта: «Joseph Brodsky. A Poet for Our Time»**. Кажется, что автор «КпК» — поэт именно нашего времени («для» нашего времени), а не того «иного» времени конца 1980-х — начала 90-х гг., когда мечталось о «конце истории» и о «новом мировом порядке». По-видимому, так считали и американские бродсковеды, посвятившие этому стихотворению часть конференции о Бродском, состоявшейся в Amherst College в июне 2000 г. Материалы дискуссии вокруг «КпК» документированы в специальном отделе второго выпуска журнала «The Russian Review» за 2002 г.***

* Печатается по изд.: Иосиф Бродский: проблемы поэтики: сб. / Ред. А. Г. Степанов, И. В. Фоменко, С. Ю. Артемова. М.: НЛО, 2012.

** *Polukhina V.* Joseph Brodsky: A Poet for Our Time. Cambridge, 1989.

*** Joseph Brodsky. «On the Talks in Kabul»: A Forum on Politics in Poetry // *The Russ. Rev.* 2002. Vol. 61. No 2. P. 85–219. Cont.: *Ciepiela C., Sandler S.* Opening Remarks; *Smith G. S.* Some Preliminary Ideas; *Wachtel M.* Kabul in Perspective; *Pratt S.* «The detail should not fall into dependence on the landscape» or Brodsky's «On the Talks in Kabul», Derzhavin, Genre, and Identity; *Ciepiela C.* «Bras and the Rule of Law»; *Sandler S.* The Poetry

Почти во всех выступлениях ощущается некоторая неловкость исследователей, сталкивающихся с примерами открыто расистского, местами мизогинистского* дискурса. Достаточно прочесть первые строки, чтобы убедиться в чрезмерной резкости ориентализма Бродского. Спустя десять с лишним лет после «Стихов о зимней кампании 1980 года» он снова отзывается на афганские события, только теперь ценностные акценты переместились. Если в более раннем стихотворении он описывает советских солдат, вторгшихся в южную республику, как «человеческую свинину» (3, 193), то теперь негодование субъекта направлено на «бескультурие» и «примитивность» горных племен, у которых «всё меню — баранина и конина» (4, 118). Если безнравственность советской оккупации в глазах Бродского заключалась в том, что это было «вторжение железного века в каменный»**, то критическая направленность позднего текста иная. Поэт выступает против анахронизма и отсталости образа жизни диких горных племен, которые со всей своей «жестокостью» (4, 118) сопротивляются всеохватывающей культурной модели Запада — «живи, как мы, и будь свободен». (Зимняя кампания 2001 г. началась под пиарным названием «Enduring Freedom», что значит «несокрушимая свобода».)

Западная концепция культуры не допускает существования несовременного ей социального порядка. В своем свободолобии она тотальнее и авторитарнее любой деспотической автократии. Она мыслит себя исключительной моделью, опирающейся на универсальные «права человека», идеалы свободы и демократии. Поэтому она стремится охватить и интегрировать все чужое и таким образом «всасывает в себя» даже свое «другое», даже само «варварство»***. Следовательно, просвещенная западная интеллигенция наших времен уже не обладает словом, чтобы обозначить феномены чужого, варварского. Отсюда и дилемма для литературоведов, собравшихся дискутировать о «КлК». Они сталкиваются с текстом, как будто выступающим за дело Запада,

of Decline; *Tiernan O'Connor K.* From Kabul to Byzantium and Back; *Smith G. S.* Afterword; *Bethea D. M.* Loose Ends in «On the Talks in Kabul».

* Мизогиния — крайняя форма уничижительного отношения к женщинам, ненависть, неприязнь либо укоренившееся предубеждение по отношению к женщинам. Мизогинист, или мизогин, — человек, которому свойственна мизогиния (*Примеч. ред.*).

** *Волков С.* Диалоги с Иосифом Бродским. М., 1998. С. 56.

*** Ср.: *Luhmann N.* Jenseits von Barbarei // *Gesellschaftsstruktur und Semantik. Studien zur Wissenssoziologie der modernen Gesellschaft.* Frankfurt/M., 1999. Bd. 4. S. 144, 149.

однако его лексика и идеология далеки от толерантности и политкорректности политического и тем более академического дискурса.

Как быть с «ориентализмом» Бродского? Из статьи К. Цепелы мы узнаем, что С. Сандлер в одном из выступлений предложила объяснить ненависть ко всему «восточному» у Бродского тем, что он сам ощущал себя наполовину восточным человеком*. Сандлер указала на эссе «Путешествие в Стамбул»**, в котором много антиисламских предрассудков и рессентиментов и которое вполне может быть истолковано как своего рода подготовка к стихотворению 1992 г. Нежелательно, конечно, приписывать Бродскому столь ненавистные современному гуманитарному дискурсу позиции, как «расизм» или презрение к другим культурам, но тут он словно напрашивается на это, говоря о своем расизме и снобизме по отношению к увиденному им миру Стамбула, Турции, Востока вообще.

Выход из положения, как часто бывает в подобных контекстах, указала идея амбивалентности***. Если допускать, что стихотворение некорректно с точки зрения западной этики, которую оно, по всей видимости, все-таки пропагандирует, тогда следует смягчить этот факт обнаружением в том же тексте амбивалентных мотивов, выставляющих некоторую относительность однозначной, на первый взгляд, позиции говорящего субъекта. Если исходить из деконструктивистского убеждения, что каждое высказывание скрывает в себе собственные апории и парадоксы, которые можно выявить в процессе внимательного чтения, то в любом тексте можно найти опоры для смягчения или даже истолкования превратным образом высказанных в нем же положений. Однако стоит отметить, что Бродскому подобные теоретические установки глубоко чужды — в этом смысле он как раз не был «нашим» современным, был поэтом скорее «против» нашего времени, чем «для» него. Следуя за Д. Бетеа, отметившим, что в «КпК» Бродскому хочется доказать, что, несмотря на аморфность современной культуры, есть речевые и тем более жизненные ситуации, где «judgement (aesthetical and ethic) is possible»****,

* Ciepiela C. «Bras and the Rule of Law» // The Russ. Rev. 2002. Vol. 61, No 2. P. 203.

** Ср.: «Что ж, вполне возможно, что мое отношение к людям, в свою очередь, тоже попахивает Востоком. В конце концов, откуда я сам?» (5, 313).

*** Ср.: Sandler S. The Poetry of Decline // The Russ. Rev. P. 206; Tiernan O'Connor K. From Kabul to Byzantium and Back // Ibid. P. 208.

**** Betea D. Loose Ends in «On the Talks in Kabul» // Ibid. P. 219. (Judgement (aesthetical and ethic) is possible — Суждение (эстетическое и этическое) возможно (англ.). — *Ред.*)

примем положение Бродского всерьез. Постараемся проникнуть в мир его мизантропических, крайне некорректных, временами анахроничных (и порою поэтому современных!) размышлений на тему столкновения Востока и Запада, т. е. на тему варварства и цивилизации. Причем мы имеем дело не с каким-либо побочным явлением в творчестве поэта*, а с одной из центральных черт его «поэтического мира», его поэтики.

Варварство: политика, эстетика, поэтика

Вопрос о варварах может быть сведен до простого различия инклюзии и эксклюзии. Как пишет немецкий социолог и теоретик Н. Луманн, современное «мировое общество» больше не обладает «старыми» механизмами эксклюзии**. В «стамбульском» эссе (1985) Бродский указывает на упомянутое Луманном «белое место» применительно к проблеме эксклюзии и инклюзии в западном мышлении, т. е. он четко анализирует ту структурную слабость, которая в начале нового тысячелетия будет мучить докладчиков в процессе обсуждения «КлК»: «Недостаток всякой, даже совершенной, системы состоит именно в том, что она — система. То есть в том, что ей, по определению, ради своего существования приходится нечто исключать, рассматривать нечто как чуждое и постольку, поскольку это возможно, приравнивать это чуждое к несуществующему.

Недостатком системы, выработавшейся в Риме, недостатком западного христианства явилось его невольное ограничение представлений о Зле. Любые представления о чем бы то ни было зиждутся на опыте. Опыт зла для западного христианства оказался опыт, нашедший свое отражение в римском праве, с добавлением опыта преследования христиан римскими императорами до воцарения Константина. Этого немало, но это далеко не исчерпывает его, зла, возможности. Разведясь с Византией, западное христианство тем самым приравнивало Восток к несуществующему и этим сильно и до известной степени губительно для самого же себя занизило свои представления о человеческом негативном потенциале» (5, 299–300).

Итак, политическая и духовная слабость Запада заключается в том, что он не способен адекватно реагировать на явление зла. Западное христианство, по Бродскому, «пренебрегало опытом, предложенным Византией» (5, 300). Но как этот опыт выглядит? Как

* Ср.: *Ciepiela C., Sandler S.* Op. cit. P. 187.

** *Luhmann N.* Op. cit.

себе представить то зло, существование которого Запад не хочет и не может признавать? Можно полагать, что речь идет о «радикальном зле», т. е. зле, находящемся вне всех морально-этических формул, о зле врагов, о зле по ту сторону *границы* культурного сознания Запада. Граница эта там, где поставлена под сомнение суть западной идеи о человеке, где роль «индивидуума» как абсолютного центра и ориентира морально-этической, а следовательно, и политической системы заменена более широкими, групповыми понятиями: «Не хочется обобщать, но Восток есть прежде всего традиция подчинения, иерархии, выгоды, торговли, приспособления — т. е. традиция, в значительной степени чуждая принципам нравственного абсолюта, чью роль — я имею в виду интенсивность ощущения — выполняет здесь идея рода, семьи» (5, 297). Востоку приписывается все, что является политически злым в понимании просвещенного западника второй половины XX столетия.

Мысль о противоположности двух географических, а затем и идеологических начал — Востока и Запада — определяет политическое мышление Бродского. Сегодня Запад не дает отчета о том, что существует мир *за пределами* хорошо урегулированной системы западной демократии. Эта слепота, как утверждает Бродский, объясняется именно системностью западного политического и этического мышления. Система эта опирается на различие, т. е. она всегда видит только одну сторону медали. Система смотрит на окружающий мир с точки зрения своей собственной деятельности и собственных установок. В силу этой вполне закономерной и неизбежной ограниченности она не может выходить за пределы «системного» взгляда на мир. То, что она не видит, для нее не существует. Задача Бродского, поэта-наблюдателя, приверженного «интуитивным» методам познания («Нобелевская лекция»), — отличить саму систему от ее действий. Бродскому как человеку, носящему в себе и западное, и восточное начала, и как поэту, который не «претендует на систему», дано «обличать» белые места в политических и этических концепциях Запада.

Эта способность рассматривать сразу две стороны медали нередко приводит к намеренному смещению категорий. Если Зло в восточной этике заключается в «отсутствии... представления о том, что она, человеческая жизнь, священна, хотя бы уже потому, что уникальна» (5, 300), то этим еще не доказано, почему именно в уникальности человеческой жизни должна заключаться абсолютная ценность. Если следовать доказательствам самого Бродского, то мы сталкиваемся с эстетическим моментом неповторимости, нетавтологичности в качестве опоры для этической и политической доктрины о несокрушимом достоинстве индивидуального

человека. По Бродскому, тавтологичность — бессмысленное повторение, обезьянье подражание — губительна для поэзии и для искусства в целом. И столь же губительной она оказывается для человечества: у позднего Бродского, чаще всего апокалиптически настроенного, мотив перенаселенности мира — один из самых важных. Он напрямую связан с мотивом «нашествия варваров», потому что для «варваров» характерно именно пренебрежение к индивидуальному человеку, к личности, к единственному числу. Достаточно вспомнить «Джугашвили» или «иранского имама, кладущего десятки тысяч животов своих подданных во имя утверждения его, имама, представлений о воле Пророка» (5, 300).

Совершенно ясно, что эта ставка на индивидуального человека соответствует основным идеологическим положениям и западного христианства (особенно в любимом Бродским протестантизме кальвинистского варианта), и западным идеям демократии, и либерализму вообще. Но примечательно, что Бродский пользуется именно *эстетическим* моментом неповторимости, нетавтологичности, чтобы доказать верность подобного взгляда на человека и культуру. Конечно, здесь приходит на память аксиома Бродского: «Эстетика — мать этики» (6, 47). Действительно ли Бродский строит свои культурологические и политические суждения, опираясь на эту — аморальную по сути — аксиому? Заметим, что именно момент индивидуального обособления и различения формировал и эстетические, и нравственно-поведенческие стратегии Бродского, а также влиял на облик его поэтического alter ego. В стихотворениях поэт развивает этику «героического номадизма»: его герой начиная с 70-х гг. предстает как «одинокий путешественник», который везде чужой, везде один и т. д.* Сквозная сюжетная линия этих текстов доводит лирического субъекта до границы, за которой открывается пустое пространство — будь то «море», «смерть» или другая концептуализация пустоты.

В стихотворении 1987 г. «Назидание» установка одинокого путешественника сталкивается с идеологически окрашенным пространством Азии. Лирический субъект предлагает своего рода инструкцию по выживанию в мире, где царствуют принцип «войны всех против всех», принцип «политики-как-продолжения-войны-только-другими-средствами» (5, 304), т. е. в мире *варварства*. Это — мир вражды, главное условие выживания — уподобление

* Это соотносится с поэтическим автопортретом Бродского в виде «странника», «одинокого путешественника», «прохожего». Об авторепрезентации Бродского см.: *Herlth J. Ein Sanger gebrochener Linien. Iosif Brodskijs dichterische Selbstschopfung. Koln [etc.], 2004.*

себя другому, мимикрия. Но мимикрия понимается как нечто внешнее; приспособляясь к среде, герой сохраняет внутри себя индивидуальный взгляд на мир. Только он, странствующий поэт, способен структурировать мир. Без его свидетельства мир остался бы аморфным, пустым:

Когда ты стоишь один на пустом плоскогорьи,
под бездонным куполом Азии, в чьей синеве пилот
или ангел разводит изредка свой крахмал;
когда ты невольно вздрагиваешь, чувствуя, как ты мал,
помни: пространство, которому, кажется, ничего
не нужно, на самом деле нуждается сильно во
взгляде со стороны, в *критерии пустоты*.
И сослужить эту службу способен только ты.
(4, 15–16; курсив мой. — Й. Х.)

Поэт является той величиной, которая отличается от Ничего, от пустоты. Своим дискретным, уникальным существованием он творит знаки, позволяющие отличить *нечто* от *ничего*, или знаки, позволяющие говорить о том, что существует такая сфера, как ничто, пустота. Бродский придает лирическому субъекту черты героического борца против варварской пустоты. Его концепция поэзии (как и искусства вообще) нуждается в этом сильном и четком различии. Ср. в «Новой жизни» (1988):

Многое можно простить вещи — тем паче там,
где эта вещь кончается. В конечном счете, чувство
любопытства к этим пустым местам,
к их беспредметным ландшафтам и есть искусство.
(4, 49)

Этот поэт-путешественник-политический мыслитель не желает оставаться в рамках хорошо урегулированной системы, будь то искусство, поэзия, или... этика западного христианства. Герой Бродского сознательно идет навстречу варварству, что приводит к изменению взгляда на мир. Отсюда подчеркнутая мужественность, характерная не только для героя, но и для жизненного поведения Бродского.

Это дает возможность переосмыслить суждение С. Сандлер о «восточности» Бродского. Враждебность по отношению к Востоку — враждебность, проступающая в издевательских мотивах «КпК», — в «системе» политической мысли Бродского не является слабостью, скорее наоборот. Враждебность к абсолютному злу придает форму сознанию, собственному взгляду на общество и, следовательно, самому обществу. Социум, у которого отсутствуют представления о «зле» или о «варварстве», превращается

в собрание людей, у которых не хватает ни воли, ни «структуры», чтобы защититься от агрессии не-культуры. Чтобы сохранить культуру в индивидуальном и общественном плане, человек обязан «оживить» в себе понятие «варварство». Это доступно только тому, кто разграничивает две истины: рядом с идеей о достоинстве индивидуума находится суждение Гоббса: «Человек человеку — волк». Современный Запад, по Бродскому, не увидел обратной стороны своей антропологической концепции. «Восточное» знание поэта помогает ему не попасть в типичную для западных интеллектуалов ловушку всеохватывающего альтруизма.

Цель подобной «мизантропии» парадоксальным образом заключается в спасении человека, причем само понятие варварства у Бродского расширяется: из политического и географического антагонизма (Запад против Востока, империя против кочевников) оно превращается в культурную оппозицию, сохраняя аксиологическую установку. Наряду с опасностью в лице «варваров» современному западному обществу угрожают массовая культура и отсутствие четких ценностных иерархий. Концепция варварства, таким образом, перекочевала из области политики в культуру, из сферы этики — в сферу эстетики, откуда она якобы вышла.

Но не только этика и политика Бродского зиждутся на идее вражды, на убеждении, что враждебность — основная формообразующая сила индивидуума, общества или культуры. То же самое можно сказать о его эстетике в целом. Ср.:

Зрение — средство приспособления
организма к враждебной среде. Даже когда вы к ней
полностью приспособились, среда эта остается
абсолютно враждебной.

(4, 62)

Само существование человека немислимо вне этих основополагающих начал враждебности, а существование поэта тем более. Не случайно Бродский часто говорит о законе вытеснения тела враждебной средой.

Лирический субъект «КпК» сражается на двух фронтах. С одной стороны, он воюет против восточного варварства, с другой — против опустошения и разложения современной западной культуры, символы которой — поклонение мамоне, сексуальная свобода, многоэтажные дома. Эти «противники» не равноправны с аксиологической точки зрения: с одной стороны, мы имеем дело с картиной смешного и опасного в своей антигуманности деспотизма, а с другой — сталкиваемся с вполне привычными явлениями западной культуры, «декадентность» которой обнаруживается,

если смотреть на нее глазами «бескультурного горца». Примечательно, что слово «жестоковыйный», столь редкое в русском языковом обиходе, появляется в Библии именно в том месте, где Моисей, спустившись с горы Синай (где он получил «скрижали каменные, на которых написано было перстом Божиим»), увидел, что его народ поклоняется золотому тельцу. Господь угрожает Моисею: «Я вижу народ сей, и вот, народ он — жестоковыйный; итак оставь Меня, да воспламенится гнев Мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя» (Исх 32: 9–10). «Одические» возгласы* лирического субъекта «КпК» следует читать на фоне ветхозаветного текста. С одной стороны, ненависть к Востоку связывается с желанием истребить мир, с другой — в самом слове «жестоковыйные» намечается крушение преград между Западом и Востоком, поскольку общество Запада, каким оно предстает перед читателем во второй и третьей строфах, восходит не к принесенным Моисеем божественным заветам, не к горнему «абсолюту», а скорее к его профанному суррогату, т. е. к золотому тельцу: «как следует разложиться», «приобрести валюту», «сесть в мерседес» (4, 118). Те же мерседес, «лифчики», «с бедра сползающая» ткань отсылают к биографии самого поэта (Бродский владел мерседесом) и к образу его лирического героя — записного дон-жуана. В разных «столицах» мира он обнажает тела красавиц; бедро или иная «часть женщины» (2, 420) подчас заменяют им лицо. В «КпК» в ряд фетишизируемых элементов женской одежды входит чадра, наделенная у ортодоксальных мусульман Афганистана строго религиозной функцией.

Итак, аксиологическая позиция текста однозначна там, где речь идет о Востоке. Насмешливые рекомендации, обращенные к «абрекам и хазбулатам», только усиливают ориенталистскую направленность подобного взгляда. Бродский наблюдает склонность западного мира к «всасыванию в себя» всего «чужого». Представители западной цивилизации полагают, что с «варварами» можно заключать договоры. Сам Бродский в стихах и в культурфилософских рассуждениях не готов отказываться от радикальной *экслюзии*. Эта *экслюзия* выполняет не только функцию укрепления, сохранения и защиты собственной культуры, цивилизации от внешних нападений и от внутреннего разложения, она выступает

* Связь стихотворения с одической традицией справедливо отмечает С. Прэтт (*Pratt S.* «The detail should not fall into dependence on the landscape!») or Бродский's «On the Talks in Kabul», Derzhavin, Genre, and Identity // *The Russ. Rev.* P. 197–201).

как культуротворческое начало. Правдивое искусство для Бродского возникает только в условиях урегулированного пространства.

Империя и ее границы

Из изложенного выше следует, что варварство у Бродского — чисто функциональное понятие, служащее для созидания и укрепления политической и эстетической моделей. Функциональность варварства как форму механизма эксклюзии/инклюзии с семиотической точки зрения подчеркивал Ю. М. Лотман. Неорганизованное пространство за пределами какой-либо культуры является просто жизненно необходимым для существования этой культуры: «Поскольку граница — необходимая часть семиосферы, семиосфера нуждается в “неорганизованном” внешнем окружении и конструирует его себе в случае отсутствия. Культура создает не только свою внутреннюю организацию, но и свой тип внешней дезорганизации. Античность конструирует себе “варваров”, а “сознание” — “подсознание”. <...>...Античная цивилизация могла осознать себя как культурное целое, только сконструировав этот якобы единый “варварский” мир, основным признаком которого было отсутствие общего языка с античной культурой. Внешние структуры, расположенные по ту сторону семиотической границы, объявляются не-структурами»*. Бродский знает, что наше понятие о «человеке», наше «гуманистическое мышление» и т. д. действуют лишь на фоне варварства. Если бы варвары последовали советам, провозглашенным в «КпК», то все различия исчезли бы, в результате — полная аморфность. Закономерны вопросы: Как уберечься от грозящего «мрака» аморфности? Как придать форму и структуру собственной культуре, если нет врагов, нет варваров, нашествие которых грозит обществу, парадоксальным образом укрепляя его основы?

Стратегия Бродского заключается в намеренном примыкании к до-современным моделям культуры. Его понимание поэзии, искусства базируется на четких иерархиях и на существовании незыблемых, внеисторичных ценностей**. Заключенный в понятие «варварство» момент угрозы позволяет ему концептуализировать поэзию и искусство как нечто постоянное, вещественное, монументальное, что подвергается нападениям со стороны

* Лотман Ю. М. О семиосфере // Лотман Ю. М. Избр. статьи: в 3 т. Таллин, 1992. Т. 1: Статьи по семиотике и типологии культуры. С. 15–16.

** Herlth J. Iosif Brodskijs Literaturpolitik // Sprache — Literatur — Politik. Ost- und Siidosteuropa im Wandel. Hamburg, 2004. S. 297–322. (Studien zur Slavistik; Bd. 10).

массовой культуры, времени. Это отражается и на образности его стихотворений: склонность к руинам, статуям, к овеществлению говорящего субтекста и самого текста.

На уровне политическом, или, скорее, геополитическом, этой установке соответствует понятие «империя». Империя в политическом и историческом отношениях предстает как организованное пространство, которое противопоставлено варварам. Само понятие «варвары» в каком-то смысле уже предполагает наличие империи. У Бродского империя играет двойственную роль. С одной стороны, в ней воплощены враждебные поэзии (и самому поэту) начала власти, контроля, бюрократизма и т. д. Такой империя выступает у Бродского с середины 1960-х гг., гримируясь в тогу Римского государства (ср. «Anno Dornini», «Post aetatem nostram» и др.). Пребывающий в нем поэт чувствует себя аутсайдером, изгнанником («новым Овидием»); из центра он стремится на периферию: «Если выпало в Империи родиться, / лучше жить в глухой провинции у моря» (3, 11).

С другой стороны, империя осмысливается позитивно. Себя Бродский считал имперским поэтом. Империя — гарантия культуры в мире варварства. Можно утверждать, что Бродский разделяет «геополитическое сознание» русских поэтов XVIII в.* Империя предстает как некая центростремительная сила, без которой нет цивилизации. В империи все остывает, все живые формы превращены в камень или в мрамор. В отличие от других поэтов Бродский охотно пользуется «мертвым», «холодным» словом «цивилизация» (вместо «теплой», живой «культуры»), подчеркивая устойчивость важных для него ценностей. Культурологическая мысль поэта пронизана идеей «имперскости». При этом он интересуется главным образом границами империи, т. е. тем пространством «фронта», где укрепленная империей цивилизация сталкивается с варварством. Разумеется, когда империя тотальна и вездесуща, она утрачивает положительный смысл, превращаясь в абсурд (пьеса «Мрамор»). Вместе с тем отрицательный вариант империи проецируется у зрелого Бродского на восток (Византия, Оттоманская империя, Советский Союз), тогда как позитивное начало связано с западно-римской империей. Она имеет для Бродского «статус едва ли не потерянного рая»**.

* Ср.: Ram H. The Imperial Sublime. A Russian Poetics of Empire. Madison, Wisconsin, 2003. P. 213.

** Прохорова Э. В. «Письма русского путешественника»: география в текстах Иосифа Бродского // Философский век. СПб., 1999. [Вып.] 10: Философия как судьба: Российский философ как социокультурный тип. С. 183.

Как в политическом, так и в художественном плане «империя» приобретает ценность на границе, там, где она завоевывает, колонизует новое пространство. Только в процессе перешагивания границы можно отличить *нечто* от *ничего*. Подобно тому как в моральном отношении не существует абсолютной ценности («этика — тот же вакуум, заполняемый человеческим / поведением»; 4, 56), аксиологическое в поэзии возникает из столкновения с пустотой, с немаркированным пространством. В «Колыбельной Трескового мыса» (1975) читаем:

<...> Только услышав «браво»,
с полу встает актер. Только найдя опору,
тело способно поднять вселенную на рога.
(3, 86)

Стихотворение было создано в самой восточной точке североамериканского материка, т. е. той империи, где оказался поэт. Любое художественное произведение нуждается в границе, оно должно отталкиваться от чего-либо закрытого, чтобы вдаваться в новое пространство, открытость которого только и открывается через данное произведение.

Здесь обнаруживается параллель между политическими и эстетическими устремлениями Бродского. Политический и философско-эстетический модусы совмещаются. Трудно определить, что первично: героическое самоопределение Бродского как одинокого поэта, «ужас востока», осознание принципа вражды в сфере политики или эстетическое ощущение мира как пограничной зоны между маркированным («цивилизованным») и немаркированным («варварским») пространством. Любая человеческая активность, вся *история* прочитываются как процесс отталкивания, трения. Ср. в «азиатском» стихотворении «Каппадокия» (1990–1991):

...орел, пара
в настоящем, невольно парит в грядущем
и, естественно, в прошлом, в истории: в допоздна
затянувшемся действии. Ибо она, конечно,
суть трение временного о нечто
постоянное. Спички о серу, сна
о действительность, войска о местность. В Азии...
(4, 102)

Временность означает действие — *vita activa**, она открывает новые горизонты, придает форму пространству. Но активность

* *Vita activa* — активная жизнь (лат.). — *Ред.*

должна отталкиваться от чего-то постоянного. Человек творит историю, потому что борется с «расплывчатостью»:

И с каждым падающим в строю
местность, подобно тупящемуся острию,
теряет свою отчетливость, резкость. И на востоке и
на юге опять воцаряются расплывчатость, силуэт;
это унесут с собою павшие на тот свет
черты завоеванной Каппадокии.

(4, 103)

Именно в этом смысле следует понимать загадочный мотив «мрака» в финале «КдК»:

И больше нет ничего. Нет ничего. Не видно
ничего. Ничего не видно, кроме
того, что нет ничего. Благодаря трахоме
или же глазу, что вырвал заклятый враг.
И ничего не видно. Мрак.

(4, 119)

С. Сандлер в венчающем стихотворении мраке видит знак отчаяния поэта перед надвигающейся пустотой и связывает этот мотив с размышлениями позднего Бродского о «неустойчивости» всего сущего*. В содержательном плане такое прочтение бесспорно. Вместе с тем необходимо учитывать и структурно-стратегический контекст. Еще в «Заметке о Соловьеве» (1971) Бродский пишет о «следующей ступени отчаяния» как о своего рода творческой стратегии (7, 60). В этой «пограничной» фигуре вновь обнаруживается структурный мотив пограничной ситуации, на котором держится вся его поэтика. В нем следует видеть не столько хронологический *конец*, сколько философское *начало* его творчества.

В «КлК» взгляд поэта-орла способен различать мрак. Этот мрак не является аморфным, бесформенным, как земной мрак «послов», «абреков и хазбулатов». Пока существует инстанция, способная определить и ограничить распространение мрака, для человека не все потеряно.

Конец культуры?

«Мрак» примыкает и к манихейской образности, участвующей в создании Бродским картины Востока. Он означает не только восточный, но и западный вариант бескультурности. Восточные «козлы, воспитанные в Исламе», и западные «послы» (4, 118) связаны не только рифмой. Суть их общности становится ясной на фоне раз-

* Sandler S. The Poetry of Decline. P. 207.

мышлений О. Мандельштама о скрытой восточности («буддизм») центральных элементов западной ментальности и общественного строя. Мандельштам в новом, XX в. видел угрозу «монументальных культур», стирающих человеческую индивидуальность. Как и Бродский, он считал, что «простая механическая громадность и голое количество враждебны человеку»*; эти принципы он приписывал восточным моделям государственности («Ассирия», «Египет»). Восток и угроза современности, т. е. грядущего, у Мандельштама совпадают: «В отношении к этому новому веку, огромному и жестоковейному, мы являемся колонизаторами. Европеизировать и гуманизировать двадцатое столетие, согреть его телеологическим теплом — вот задача потерпевших крушение выходцев девятнадцатого века, волею судеб заброшенных на новый исторический материк»**. Та же установка и у Бродского, только историсофская окраска иная. Мандельштам демонизирует и мистифицирует враждебные человеку силы под знаком «буддизма» и «прогресса». Это пагубное сочетание воплощается в образе «ассирийских, воинственных» «стрекоз-аэропланов»***, а также в мотиве тьмы ассирийской из четверостишия, приведенного в статье «Девятнадцатый век». Олицетворяет враждебную тьму «Азраил» — мусульманский ангел смерти****.

У Бродского о «телеологическом тепле» не может быть и речи, но его «мрак» по сравнению с мандельштамовской тьмой демистифицирован. Колониальный завет («европеизировать»), столь важный для Мандельштама, у Бродского, даже если рухнули мечтания о новом «одомашненном» общественном строе, остается в силе. Бродского интересует не модель идеального социума, но сама возможность суждения и различения как необходимая предпосылка индивидуального, а значит, человеческого взгляда на мир. Задача поэта состоит в том, чтобы четкими различиями, стремлением к неповторимости воспротивиться грядущему концу культуры, признаки которого в «громадности», в «антииндивидуалистическом пафосе» ожидаемого «гигантского популяционного взрыва» (7, 132). Мандельштам в начале третьей декады XX столетия видел себя и все человечество на пороге новой, истинно человеческой культуры.

* *Мандельштам О. Э. Гуманизм и современность // Мандельштам О. Э. Стихотворения. Проза. М., 2001. С. 522.*

** *Мандельштам О. Э. Девятнадцатый век // Там же. С. 480.*

*** *Гаспаров М. Комментарии // Там же. С. 644.*

**** *Ср. концовку стихотворения: «И с трудом пробиваясь вперед, / В чешуе искалеченных крыл, / Под высокую руку берет / Побежденную твердь Азраил» (Там же. С. 91).*

Бродский к концу того же столетия говорит о «царстве справедливости», или о «Золотом веке», только в ироническом ключе (4, 176).

По русской традиции, восходящей к А. Герцену, который усматривал в западноевропейском либерализме стремление к «коллективной посредственности», к стиранию личности, т. е. к «китаизации»*, Бродский ассоциирует «катастрофу» западной цивилизации с Востоком: «Бред и ужас Востока. Пыльная катастрофа Азии» (5, 288). У позднего Бродского встречается мотив угрожающей его лирическому субъекту — старому, большому человеку — чисто телесной потенции и вирильности. Достаточно вспомнить последнее стихотворение «Август», где «загорелый подросток... у вас отбирает будущее, стоя в одних трусах» (4, 204). В более раннем тексте («Посвящается Джироламо Марчелло») этот мотив приобретает геополитическую (читай — расистскую) окраску: «Набережная кишит / подростками, болтающими по-арабски» (4, 111).

Мы уже отметили, что в культурологических размышлениях Бродского предпочтение отдано понятию «цивилизация». Но, несмотря на активные действия гуманитарных наук по размежеванию цивилизации и культуры (Вебер, Шпенглер и др.), Бродский — вне систематических подходов. С одной стороны, цивилизация для него несет известные черты монументального, возвышенного. Она выражается в петербургской архитектуре (5, 27), в зримых манифестациях культурной наследственности, во всем великом, каменном, «предметном»**. В этом отношении цивилизация предстает как «остывшая культура» (Шпенглер). Это определение свободно от отрицательных коннотаций. Неслучайно в концептуализации своего творчества Бродский примыкает к державной, имперской, а следовательно, «цивилизационной» традиции гораццианского «*exegi monumentum*»*** (ср. «*Aere perennius*» Бродского)****. Для поэта цивилизация — это агрегатное состояние культуры в ситуации угрозы или же завершения, подведения итогов (что в конечном счете — одно и то же). Сам термин обозначает искомую пограничность любой культуры, любого творческого акта. В предпочтении, которое Бродский оказывает слову «цивилизация», лежит напоминание «культуре» о том, что она погибнет, если потеряет из виду

* Ср.: *Мережковский Д. С. Грядущий хам // Мережковский Д. С. Полное собрание сочинений: в 24 т. М., 1914. Т. 14. С. 5–59.*

** Ср.: «...Они все равно хранили любовь к несуществующему... предмету (в подлиннике “thing”. — Й. Х.), именуемому цивилизацией» (5, 25).

*** *Exegi monumentum* — Я памятник воздвиг (*лат.*). — *Ред.*

**** Ср.: *Herlth J. Ein Sanger gebrochener Linien. P. 341–346.*

собственные границы, исчезнет, если думает, что ей «просто так», без усилий обеспечено дальнейшее существование. Процесс культурной традиции, наследственности, в котором поэт видит «суть всех цивилизаций» (5, 256), является крайне рискованным. Надлежит ясно осознать цивилизационные риски. Они у Бродского принимают разные очертания: от вполне «реальных» политических или исторических («исламский фундаментализм», «демографический взрыв») до не менее реальных, но скорее внеисторических — «конец культуры», «время» и т. д. Отсюда понятно, почему Бродский рассматривает «культуру» и «цивилизацию» как синонимы — они отличаются не столько по содержанию, сколько по сюжетной функциональности. В его размышлениях о судьбе «культуры» «цивилизация» всегда указывает на момент конца, угрозы, т. е. на пограничное положение какой-то безусловной ценности.

Французский теоретик и литературовед Р. Барт в лекциях, прочитанных в *College de France* с 1978 по 1980 г., предлагает картину современного состояния культуры, которая удивительным образом совпадает с положениями Бродского. Барт наблюдал «смерть литературы» и видел в Поэзии едва ли не единственную отрасль культуры, которой под силу воспротивиться гибели: «Поэзия = практика утонченности в варварском мире. Отсюда необходимость *сегодня* бороться за Поэзию: Поэзия должна быть рассмотрена как часть “Прав человека”; она не декадентна, она субверсивна и витальна»*. Когда эта «утонченность» (*subtilite*) исчерпана, мы не можем говорить о человеке в исконном смысле этого слова. Если Бродский видел в поэзии «цель» человеческого рода, то Барт из подобной оценки сделал радикальнейший вывод, полагая, что угроза исчезновения/истребления литературы равна угрозе «духовного геноцида» человечества**.

Почему ценность поэзии должна быть укреплена риторически-ми сценариями угрозы? Почему она непременно должна совпасть с субстанциальным определением человека как существа? Видимо, вопреки собственным высказываниям Бродский не хочет и не может довольствоваться исключительно эстетическими критериями. Оказывается, что вся его концепция поэзии и культуры не столько эстетична, сколько аксиологична. Она нуждается в иерархии и в границах. Бродский придает этим иерархическим структурам вид чисто эстетических различий, но на самом деле абсолютные цен-

* *Barthes R.* La Preparation du roman I et II. Notes de cours et de seminaires au College de France 1978–1979 et 1979–1980. Texte etabli, annote et presente par Nathalie Leger. Paris, 2003. P. 49, 82.

** *Ibid.* P. 190.

ности — «прекрасное», «человек», «культура», «поэзия» — и у него «как золотая валюта... обеспечивают все идейное обращение»* в области эстетики (включая аксиоматичную формулу о том, что «эстетика — мать этики»).

Мандельштам видел две возможности дальнейшего бытования золотого «европейского гуманистического наследства»: «не под заступом археолога звякнут прекрасные флорины гуманизма, а увидят свой день и, как ходячая звонкая монета, пойдут по рукам, когда настанет срок»**. Очевидно, что Бродский уже не мог питать подобные надежды на утопическую развязку. Поэтому он концентрируется на спасении того, что есть и было. Там, где другие, разделяя его заботу о сохранении культурного богатства, говорили бы об «архиве», Бродский приводит образы и мотивы из археологии. Для него «заступ археолога», а не «архив» или «библиотека» становится ориентиром размышлений о судьбе «гуманизма». Он не хочет пускать в оборот добро культуры / цивилизации, потому что стал свидетелем того, как «золотой запас» в этом «обороте» рискует потерять свою субстанцию. Поэтому он выбирает позицию защитника культуры от «варварства», и поэтому вся его эстетическая, или, вернее, *этическая*, концепция сталкивается с дилеммой, намеченной в переведенном совместно с Г. Шмаковым стихотворении К. Кавафиса «В ожидании варваров»:

Но как нам быть, как жить без варваров?
Они казались нам подобьем выхода***.



* Мандельштам О. Э. Гуманизм и современность // Мандельштам О. Э. Стихотворения. Проза. С. 524.

** Там же.

*** В ожидании варваров. Мировая поэзия в переводах Иосифа Бродского. СПб., 2001. С. 87.